

Иван МАКАРОВ

Иван Макаров родился в 1957 году в Москве. Окончил химико-технологический институт и заочно литинститут им. Горького. Работал инженером, слесарем, дворником, сторожем и т.д. Публиковался в журналах и альманахах «Новый мир», «Согласие», «Знамя», «Юность», «Поэзия», «День поэзии», «Плавучий мост», «Крещатик», «Топос» и др. В 2006 году вышла книга стихов. Живет в Калужской области. В «Волге» публиковались рассказы (2017, № 11-12; 2018, № 7-8).

МУЗЫКА

Рассказ

*De la music avant toute chose...
(Музыка прежде всего...)
А. Рембо, кажется*

Группа туристов из Америки осматривала все, что положено осматривать в нашей древней столице. Красная площадь, Кремль, два царя – Пушка и Колокол, памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, разрушенная и вновь выстроенная Иверская часовня. Александровский сад и Манеж... Скульптурная группа Церетели, с толстым медведем, совершенно неприлично повернутым жирным задом к Кремлю...

Сияющая утренней свежестью столица приветливо встречала гостей.

Университет, памятник Ломоносову, Никитская (бывшая Герцена) улица.

Консерватория.

У Консерватории американские пенсионерки показали на памятник и спросили человека в форме охранника:

– Ракманинов?

– Нет, – удивился он. – Чайковский.

Это можно понять. Рахманинов жил у них в Штатах, а кто такой Чайковский, они имели полное право не знать.

Эту похожую на анекдот историю рассказал мне Борис Петрович Пирогов, он сам и был там в форме охранника, и утверждал, что это совершенная правда.

Хоть он и был в форме охранника, на самом деле он работал мастером-электриком в стоящем рядом кафе из группы «Кофемания», просто другой спецодежды для него не нашлось.

Недавно Борис Петрович умер, ушел от нас, и мне кажется необходимым рассказать, что я знаю о его последних днях, которые мы провели вместе, в одном медучреждении, в одной палате, а заодно и вообще о том, что происходило тогда вокруг и рядом.

Стояла осень, приближалась зима, лес за окном потихоньку желтел, и это меня огорчало, хотя пока все было как бы в порядке, и даже на улицу нас не пускали, то есть не то хорошо, что не пускали, просто пожелтения листьев я вблизи не видел

...Я лежал в 34-м отделении 17-й клинической наркологической больницы (филиал) уже несколько дней, меня перевели в корпус «В» («выздоровливающие»), в палату № 6. Я там однажды уже и прежде бывал, но это так, к слову.

И вот к нам перевели из корпуса «А» («надзорного») Бориса Петровича, а с ним еще одного мужика по имени Володя.

А я как раз возомнил себя как бы старшим, главным в палате. Еще бы! Из нас четверых я был на тот день, с одной стороны, старшим «по стажу», с другой – младшим по возрасту. Четвертым с нами был Виктор Грибов, 56-ти лет, с седой бородой, благообразный (даже непонятно, как он мог оказаться в нашей компании), похожий на Виктора Гюго, может быть, поэтому его и называли Виктором, с ударением на последний слог, по-французски. Он работал ведущим технологом на заводе «Спецэлектрод» (это тоже особая история!).

Однако стать «старшим» Борис Петрович мне не дал. Был он, несмотря на физическую немощь, на страшную дрожь в руках, редкую даже для 17-й больницы, самостоятелен, остроумен, даже порой язвителен, уверен в себе. То есть он был сильным, волевым человеком.

Впрочем, жили мы с ним мирно, даже, пожалуй, подружились, несмотря на все колкости, которыми мы постоянно обменивались. Такова уж наша дурная природа: если утверждать себя, то непременно за счет унижения ближних – издержки самореализации (иногда мы называем это чувством юмора).

Борису Петровичу еще не было 60-ти, но пенсию он уже получал, чем заметно гордился: он сколько-то лет проработал на Севере. Но и до 60-ти лет ему оставалось всего несколько месяцев. Странное совпадение, наши дни рождения приходились на один день: на 1-е января. С разницей в 10 лет. Я был все же моложе.

Борис Петрович очень ждал этой даты.

– Это у меня последний круглый юбилей. Провести его надо достойно, – не раз повторял он.

Видно, он немало думал об этом. И не раз все подробно рассказывал:

– Будет ящик шампанского. Это обязательно... И – жареный поросенок. Целиком.

Еще он предполагал большой торт с соответствующей надписью и 60-ю свечами, думал, где лучше заказать такой торт. На Юго-Западной или у себя в «Кофемании»?

Я однажды заметил ему, что принос такого торта, вообще-то, наверно, забота родственников и друзей. Борис Петрович воодушевлено согласился:

– Вообще-то да, я им скажу... Но... Кто их знает...

Видно, Борис Петрович не слишком доверял людям, и как знать, может быть, он имел для этого основания. Или предстоящее 60-летие так волновало его?

Особой заботой был праздничный поросенок. Борис Петрович узнал уже, что праздничную тушку дешевле всего можно купить на Преображенском рынке. У них во Внуково все страшно дорого... Но вообще-то с поросенком все было не так просто.

Что если, увидев на столе хрюшку, кто-нибудь из гостей скажет (или хотя бы подумает): вот прожил 60 лет как свинья, и на столе у него поросенок...

Борис Петрович задумчиво смотрел в окно.

Я тоже задумался. Мне и прежде, когда Борис Петрович в первый раз говорил о своем дне рождения и о поросенке, приходила в голову мысль о сомнительности присутствия такого некошерного животного на юбилейном столе, но хватило деликатности промолчать. Тем более ничего дельного я тоже не мог придумать: гусь или индюк в этом качестве могли показаться не намного менее двусмысленны... Осетр? Но Борис Петрович не дождался, пока я произнесу это слово. Он отвернулся от окна: «Осетр? Нет, осетр тоже не годится... Осетр – рыба».

При своей крайне невзрачной, неспортивной и вообще неприглядной внешности (в секторе «В» пациенты выглядели уже, в общем, в основном вполне пристойно), Виктор Петрович умел, что называется, себя держать. Пришедший с ним вместе в нашу палату

Володя, вполне еще молодой и здоровый, кажется, его даже побаивался, и пока он не выписался, жил почти совсем бессловесно.

У Бориса Петровича было нервное, морщинистое лицо, очень сильно дрожали руки. Словом он был совершенно один тех, которых, выражаясь словами Зощенки, на каждой улице по подворотням по десять штук стоит.

Ноги у него были поражены страшным варикозом. В жизни у него случилось однажды так, что он совершенно перестал ходить, едва передвигался на костылях.

Тогда-то жена его стала ему изменять (или тогда только он узнал об этом), и он с ней развелся и формально даже, хотя они продолжали проживать в одной квартире, и в больнице она его навещала, только продукты для передач покупала на его деньги.

«Женщинам вообще только деньги нужны. Иначе ты для них не мужчина. Без денег ты – никто» – это было твердое убеждение Бориса Петровича, и он по разным поводам часто повторял эту фразу.

Про всякие сомнительные и неопределенные вещи не зря говорят иногда: «обманчивы, как человеческая внешность». И Борис Петрович был, на самом деле, безусловно личностью яркой, незаурядной. Не слишком часто рождаются такие люди, и не слишком часто обрываются такие жизненные пути.

В молодости он окончил электротехнический техникум где-то в Замоскворечье, возле Пятницкой (кажется, в Кадашах).

В положенный срок его призвали Вооруженные Силы. Срок службы составлял тогда 3 года в сухопутных войсках и 4 года на флоте.

Бориса Петровича с его среднетехническим образованием хотели направить в ракетные войска стратегического назначения. Когда военком сообщил ему об этом и поинтересовался его мнением (так положено, своеобразный этикет, чаще всего пустая формальность), Борис Петрович повел себя неординарно.

– Мой отец, – сказал он, обрекая себя тем самым на лишний год службы (невиданное дело!), – во флоте срочную проходил, а дед еще на «Рюрике» служил...

«Уж и сам не знаю, как у меня вырвалось», – признался он.

Неизвестно, знал ли военком, что и кто такое Рюрик, но он едва не прослезился при виде такого героизма, и род войск для Бориса Петровича был определен.

Служил он на корабле по своей радиотехнической специальности на Северном флоте, а после демобилизации снова стал плавать – на рыболовных судах. Ходил в Атлантику, видел Испанию, Канарские острова.

Ничего содержательно он о них не рассказывал, только повторял со значением: «Канарские острова...».

– Горы я не люблю, – говорил мне Борис Петрович, – вот море другое дело. Море – это мое.

Потом был Север (тоже море и тоже радиосвязь), и вот уже на пенсии он стал работать в этой самой «Кофемании» – электропечи, холодильники и т. п. ...

«До тысячи долларов получал», – хвастал он.

И так до самого помещения в 34-е отделение 17-й клинической наркологической больницы.

– Всего-то четыре дня запой был, не знаю, зачем и поехал. Дома бы отлежался, на дом бы нарколога вызвал, тыщу отдал бы, и все.

Заведения компании «Кофемания» разбросаны по всей Москве. Центральный офис располагался где-то на Маяковской.

После выписки из больницы Борис Петрович не собирался долго работать на этих «капиталистов»: «Они деньги гребут, а я вкалываю».

Говорил, что устал, хватит. Работать приходилось всю неделю, случались и сверхурочные – допоздна: оттого и большая зарплата. Иногда вызывали и из дому. Например, если летом в жару ломалась холодильная установка.

– В конце концов, пенсию получаю, на самую черную старость отложено... Сколько можно? Возраст уже не тот. Буду работать для души. А каждый день ездить из Внукова больше не хочу... До Нового года (до 60-летия) доработаю и брошу.

Выносить что-либо с собой из кофейных, электротехническое обслуживание которых осуществлял Борис Петрович, было категорически нельзя: выгоняли сразу, невзирая на чин, но потреблять внутри можно было сколько угодно, любые торты, пирожные и не знаю еще, что у них там было. Борис Петрович любил сладкое («Круассаны!»). Но особенно он любил кофе. Его там тоже давали в неограниченных количествах.

– Это, – говорил Борис Петрович, – мое лекарство.

Кофе там готовили по множеству рецептов, по-турецки, по-венски, еще не знаю по-каковски, может быть, даже по-мытищински. Кстати, минимальная цена чашечки была что-то около 100 рублей. И находятся же, думал я, дураки, которые туда ходят. Это сколько ж можно на эти деньги того же кофе самому себе приготовить – хоть по-венски, хоть по-турецки, хоть по-мытищински.

Одна только рецептура труженикам кафе категорически не подавалась. Правда, Борис Петровичу однажды дали попробовать. Это кофе по-французски: с коньяком.

На Ленинградском вокзале торговали видеопродукцией. В том числе порнушной.

– Выйду, – мечтал Борис Петрович, – отсюда, пить не буду, поеду на работу, получу зарплату за два месяца, куплю новых дисков, возьму джин-тоник, включу, буду смотреть.

У него и так была уже порядочная фильмотека. Упоминаю об этом лишь затем, что Борис Петрович сам очень часто вспоминал свою виртуальную сокровищницу.

А на Маяковке, возле их офиса торговали книгами. Отдельные тома «Истории» Карамзина можно было купить там невероятно дешево. Борис Петрович удивлял меня, подробно и увлекательно пересказывая классика.

Большинство обитателей, постояльцев, насельников, пациентов – назовите как угодно – 34-го отделения 17-й больницы были ветераны.

То есть они проживали, находились на излечении не в первый раз, и даже не в первый раз в течение календарного года. Иные бывали уже и раз по десять. Некоторые возвращались уже через несколько дней после выхода. И часто даже в еще более жалком виде, чем поступали впервые.

В разговорах в курилке предлагалось даже ввести нагрудные знаки для особенно верных. Или особые льготы: в виде, например, лишнего пакетика чаю...

Борис Петрович был в этом смысле как бы дважды ветеран, хотя сам он в 34-м отделении был впервые, прежде лежал в другом: двумя этажами ниже. Но теперь в этой же больнице, только в 32-м отделении, находился его 30-летний сын Андрей, попавший сюда уже едва не в десятый раз. Так что Борис Петровичу пришлось обращаться к самому главврачу за разрешением о свидании.

Нельзя сказать, чтобы отношения отца с сыном были совсем безоблачные.

Сын по причине своего заболевания давным-давно уже нигде не работал, что, естественно, казалось диким до самой старости и даже теперь, уже на пенсии, много и нелегко работавшему отцу.

– Я так и сказал: кормить его не буду! Пусть мать кормит.

– Но может быть, он теперь выйдет, устроится...

– Куда он устроится!.. Он же безвольный совсем... А дружок у него есть, Женька... Что тот скажет, то Андрюха и делает... А отец ему нужен только, когда у отца деньги есть... И не пью я с ним давно уже... Он, как выпьет, совсем дурак делается и с кулаками лезет... А я этого не люблю.

Бывшая жена Вера регулярно, примерно раз в неделю, навещала отца и сына Пироговых. Привозила большие передачи. Чаще ездить она не могла – работа. И трудно было добираться из Внукова. Приезжала, когда могла взять машину, служебную газель. Она работала в магазине, часто отпускала местным в долг, и, как говорил Борис Петрович, от этого у нее бывали недостатки.

Довольствоваться больничной пищей он не мог (так он говорил), хотя кормили нас, по моему мнению, более чем прилично, и приездов жены всегда ждал с нетерпением. Но пища – пищей, а главное, она привозила и тайком передавала чай. И, что было еще важнее для Бориса Петровича, растворимый кофе. Он поглощал его в страшных количествах: по 8-9 больших, почти пол-литровых кружек в день.

– Это, – говорил он, – мое лекарство.

Дело в том, что чай и кофе, а также лук, чеснок, лимоны и перец передавать больным (лечащимся), иметь и употреблять в отделении было категорически запрещено. Чай мог быть приготовлен как чифирь, а все остальное, как утверждали врачи, могло разрушать получаемые пациентами лекарства и снижать их действенность.

Чай (кроме фруктового и зеленого) дозволялся только в пакетиках. Причем коробки с пакетиками изымалась, складывались в отдельный шкаф, и потом сестры или санитарки выдавали по одному пакетику три раза в день. Конечно, выпросить удавалось и чаще, но этого все равно не хватало. Запрещенное передавалось контрабандой, из рук в руки при встрече: несмотря на все строгости, до личных обысков дело на моей памяти не доходило. Кстати, в тот же шкаф прятали и одеколон, если он казался кому-то необходимым. Его выдавали по утрам, свежевыбритые алкаши тут же при сестрах мазали им щеки и отдавали обратно, под спуд.

С медсестрами Борис Петрович по причине независимости и самостоятельности своего характера ладил плохо, а когда я однажды спросил его, зачем так глупо и не по-доброму себя ведет, он самодовольно, одновременно загадочно улыбнулся и ответил: «А вот не могу иначе».

Мне же, вечно влюбленному, сестры казались какими-то ангелоподобными, нездешними, неболичными существами. Хотя на само-то деле они были вполне больничные: роскошные формы в роскошных белых халатах.

Кроме того, они были чаще всего добры и очень снисходительны к нам.

...Помню, одна, Галина Николаевна, колола мне магнезию и нечаянно проколола вену. Вообще-то она делала уколы так хорошо, что даже нельзя было почувствовать, когда именно тебя укололи. Но вот, видно, вена моя оказалась тонка, и игла прошла ее насквозь. Боль была страшная. Но, Боже! Я видел перед собой лицо Галины Николаевны. Оно было так искажено, что ясно было, что ей в эту минуту гораздо больнее, чем мне.

– Ну что же, что же так!.. Что же так!.. – растерянно повторяла она, в то же время профессионально массируя мою руку, – если будет хоть немного болеть, сразу приходи, я еще массаж сделаю...

Мне было так стыдно и досадно, что от боли я не могу ни сделать веселое лицо, ни притвориться, что мне не больно...

А «колониальные товары» в виде чаю и растворимого кофе все же проникали в наше благословенное заточение, и когда это происходило, настроение наше заметно

улучшалось. Чифирь я там, правда, лишь однажды употребил, за компанию: не очень люблю. А Борис Петрович, заглотив свою обыкновенную поллитру кофе, становился чрезвычайно оживлен, возбужден и разговорчив... Он вспоминал, рассказывал про свою жизнь, строил вслух планы на будущее.

Когда я не слишком одобрительно отозвался о его видеокolleкции, заметив, что лучше все же живое что-нибудь, он рассказал о своей подруге Вале, художнице из Теплого Стана.

– Представляешь, 42 года, бюст шестой номер, а душа... Когда у меня ноги отнялись, а моя со своими хахалями гуляла, она не бросила меня, поддерживала... Ну, и я ее, соответственно. Понимаешь, художественная натура, когда работает, устает, и вообще, и просто физически, ну и как картину продаст, понятное дело, срывается... Потом болеет. Тогда я и приезжаю. Заношу ее в ванную, она там лежит, а я ей понемножечку приношу, пока она в себя придет. И тогда уж все наше...

– А сюда она к тебе не приходит?

– Ты что!.. Я, когда к ней езжу, в тройку с галстуком наряжаюсь...

– Ого! У тебя и тройка есть?

– Есть. Я, как с Севера приехал, купил...

Я довольно плохо знаю родную историю. А теперь и совсем уже, кажется, все забыл.

И историю русско-японской войны тоже.

Однако по поводу причин цусимского поражения у нас с Борисом Петровичем оказались довольно схожие взгляды. Только Борис Петрович считал свою точку зрения единственно верной, что не мешало ему, впрочем, с интересом относиться и к другим гипотезам, а я полагал, что известная мне версия только одна из многих возможных, а как обстояло дело в действительности, не знает никто.

Беда, по нашему общему тогда мнению, произошла из-за разных снарядов, которые применяли наши и японские моряки, а личные таланты адмиралов Рождественского и Того имели лишь второстепенное значение. Дело в том, что наш замечательный броневой снаряд, получивший, кстати, золотую медаль на парижской ярмарке, был снаряжен пироксилином, в то время как японский при меньшей пробивной силе снаряжался шимозой, тринитрофенолом. Он хотя и хуже пробивал броню, мощным взрывом причинял большой урон кораблю и морякам, кроме того, разрываясь, он вызывал пожар и выделял зловонный и ядовитый дым.

Борис Петрович был даже как будто растроган нашим согласием. Только японскую шимозу мы с ним называли по-разному, он менонитом, а я тринитрофенолом... Впрочем, это страшное зелье имеет, по-моему, около десятка совершенно равноправных названий...

Совсем дураки! Что мы могли знать про это... Про японскую войну... Однако рассуждали.

А между тем жизнь в палате и в отделении в целом шла своим чередом. Кто-то выписывался, кто-то вновь прибывал.

Володя упорно молчал, а наш четвертый постоялец, ведущий технолог завода «Спецэлектрод» Грибов, то и дело вводил меня в грех злословия. Впрочем, вины его в этом не было. Он и в палате часто отсутствовал: ходил в сектор «А», помогал сестрам ставить капельницы тяжело болящим. И рано ложился спать, а уснув, начинал громко–громко храпеть. Он сразу виновато предупредил нас об этом. Но храп его мне не мешал. Просто очень уж тесен мир.

Я отчасти знал этот самый завод «Спецэлектрод» (в просторечии «Уголок Дурова»), где трудился наш Виктор. Даже больше знал, чем хотелось бы: несколько месяцев проработал там плотником.

– Ведущий технолог... Да, у вас там очень высокая технология... Грязные мешки, и от пыли в двух шагах друг друга не видно... А уж как там по ночам по пьяни обмазку мешают, я знаю... А ваша госпожа Михеева... Кстати, как она поживает?

Виктор возражал вяло и застенчиво:

– Ну, какая она наша, она такая же наша, как и ваша... Она по заграницам ездит... А мы ее и не видим...

«Уголок Дурова» даже по нашим временам и нравам предприятие выдающееся. В дни, когда платили зарплату, молодые женщины, случалось, криком кричали и плакали: таково бывало несоответствие между тем, что обещали, и тем, что дали.

Многие из них самостоятельно растили детей, жили далеко за городом, и то, что им платили за нелегкий и совсем не женский труд, трудно было назвать иначе, как издевательством. Притом считалось, что оплата на заводе сдельная, но никаких норм и расценок в «Уголке Дурова» никто никогда не видел. И не всякий злодей и душегуб с большой дороги смог вызвать в своей адрес столько брани униженных и оскорбленных людей, сколько заводское начальство, и прежде всего мадам Михеева. За последние годы мне много-много раз доводилось менять место работы, но должен сказать, что более хамского отношения к трудящимся я нигде не встречал: кажется, охрана с автоматами, в том числе, занимает на «Спецэлектроде» едва не больше половины работающих...

Виктор, конечно, в этом был нисколько не виноват, такая же жертва конторы мадам Михеевой, как и другие работники, но я никак не мог удержаться, чтоб не высказать ему все, что я думаю о его месте работы.

Кажется, все больные в 34-м отделении рвались на волю. Официальный срок лечения составлял ровно месяц, и раньше старались не выписывать.

Некоторые пациенты платили деньги, носили «презенты» заведующим («Коньяку не надо, у меня его полный шкаф, давайте виски» – предупреждал заведующий), соглашались делать себе малополезные и небезопасные инъекции, кодирование, торпедо и т. п. (за которые тоже платили деньги), чтоб только раньше выписаться.

Значит, у них у всех были важные дела, а у меня не было? У некоторых действительно были. В основном у тех, кто работал на прибыльной должности и хорошо зарабатывал...

Исмаил, служивший персональным водителем у какого-то небедного человека, Виталий, автослесарь в госучреждении, где машины проходили техосмотр. Они и выписались досрочно. А другие только томились в медицинском заточении, считали дни, ругали порядки, начальство, кормежку, даже ни в чем не повинных сестер.

А у меня разве не было важных дел? Были. Только так уж выходило, что именно в 34-м отделении они на тот момент лучше всего делались... Я лежал, отдыхал и думал. Дело в том, что я, кажется, давным-давно уже совершенно разучился скучать.

Мне 34-е отделение казалось настоящим санаторием.

Ведь и в самом деле санаторий. Пансионат!

Я никогда не был в санатории. И в пансионате тоже не был. Но почему-то именно так это себе представлял. Заботливый персонал. Чистота, уют, на окнах белые жалюзи. За окнами с одной стороны начинающий желтеть лесопарк, с другой – кольцевая дорога, только с третьей (огромное здание филиала было слегка изогнуто) – воинская часть со скромной и даже грязноватой архитектурой. В коридорах какие-то диковинные цветы. Чистые постели, каждые две недели меняют белье. Душ в палате. Какая-никакая библиотека. Настольный теннис...

Жаль было только, что все это было не в какой-нибудь горной Швейцарии – как у князя Мышкина, например...

Даже тренажерный зал был, и я даже велотренажером пользоваться научился. Кажется, безумная глупость. Выдумка сытых дураков без воображения. Сидишь, как на

велосипеде, педали крутишь, и притом – никуда не едешь! Самообман. Ничего подобного, все очень просто. Когда залегаешь на этот велотренажер, надо просто глаза закрыть. И с закрытыми глазами педали крутишь, и едешь, едешь... Куда хочешь, туда и едешь...

И еще я читал книги.

Я теперь книги читаю не так, как прежде читал.

Я теперь прикладываю содержание очень-очень непосредственно, близко к себе, к своей жизни, к своим обстоятельствам, к своему «прошлому», «настоящему», к своим бедам и горестям. Даже к своим грехам... Но это, естественно, редко... Зато чувствительно.

Я нахожу то, что пишется обо мне, хотя порой и искать не надо. Само находится. Иногда кажется, что просто про меня и написано.

А книги другой раз попадают грустные и странные. И даже страшные:

*Тяжко падает дождь
На мою шляпу,
Украденную у придорожного пугала
(японские стихи)*

тетушка Джер, одержимая духом святой лягушки...
(это что-то китайское)

Но это еще не страшное. Страшное – про блокаду. Ленинградскую:

– Мама, дай хлеба!
– Спи, мальчик, спи.
– Мама, дай хлеба!
– Спи, мальчик, спи. Хлеб тоже спит...
...Ира рисовала хлебные карточки, и ее карточки были гораздо лучше настоящих – по ним хлеб выдавали безотказно...

А вот еще какой-то поэт:

*Молнии боюсь... То есть,
Кажется, кругом воры...
И как Робинзон порох,
Прячу по щелям совесть...*

...Вообще, как это ни странно, лежать в больнице мне нравилось. Наверно, потому что особенно ничего не болело.

Может быть, это плохо? И когда заболею по-настоящему, лимит легкого больничного времяпрепровождения окажется непоправимо исчерпан? Не знаю...

«Психологически» это, конечно, понятно: в больнице лежать – это же такая замечательная безответственность!..

Однажды утром Борис Петрович позвонил по телефону на свою работу, в «Кофеманию». Он уже несколько дней собирался, но все откладывал. И вот позвонил. Разговор получился плохой. Борис Петрович был огорчен, оскорблен и подавлен. Как мог, он старался это скрыть и говорил весело, но все было и так понятно.

Все его несомненные заслуги перед фирмой оказались вдруг сразу забыты. А ведь сколько раз он их буквально спасал. Это представить себе! Весь суточный запас кремовых пирожных, тортов и всего тому подобного мог разом погибнуть – в сломавшемся

холодильнике в двадцатипятиградусную жару... А вовремя (в неурочное время, кстати) отремонтированные печи... И какова благодарность?

Пока Борис Петрович отсутствовал (меньше месяца!), на его место взяли другого человека! Разумеется, Борис Петрович не собирался долго там работать, и все равно...

Он ведь даже уже подготовил свой достойный уход: нашел себе замену – электрика, из своих, из наших, из пациентов, из алкашей, и готов был, пока сам еще работает, до 1-го января, обучить его всем премудростям...

Увы...

«От вас не было никаких известий, – сказали ему, – мы не могли ждать...»

Пока нужен был, ценили и уважали... А теперь выгнали, как собаку... – подвел Борис Петрович неутешительный итог.

Но душевная рана – душевной раной, а пропадать и даже остаться без работы Борис Петрович не боялся. Кроме электрики он еще много чего умел.

Я его убеждал, что с его знаниями, а главное, с допуском к напряжению он легко найдет себе место дежурного электрика с графиком «сутки – трое» – моя собственная заветная мечта, неосуществимая из-за отсутствия этого самого электрического допуска, но Борис Петрович и слушать не хотел: «Теперь только для души», – решительно заявлял он.

«Для души» его интересовали храмы и резьба на них. То есть не храмы, конечно, а их макеты – настоящие произведения искусства. У него был роскошный фотоальбом по архитектурной части нашего культурного достояния, и он брал оттуда образцы.

Технология была сложная. Борис Петрович несколько раз объяснял мне, но я до конца не все понял. Возможно даже, он что-то не договаривал, как многие настоящие мастера, хранил профессиональную тайну. Он брал какие-то особые ветки от ивы, в чем-то вымачивал, высушивал. Они были у него бревна. Из тонкой щепы делались крыши и резные орнаменты. Как изготавливались купола, я так и не понял.

Но главным своим изобретением Борис Петрович считал снег. Готовые изделия он заключал в футляр (специально заказывал из оргстекла), и на этот самый прозрачный футляр по какой-то тонкой технологии наносился этот самый снег. Получалось очень эффектно.

Свои макеты древних деревянных церквей он уже продавал иногда на так называем «Вернисаже» в Измайлово. Тогда там действительно присутствовало еще какое-то более или менее живое искусство. Вероятно, там он и познакомился со своей художницей Вaley...

По мере приближения выписки возбуждение и воодушевление Бориса Петровича стало достигать иногда уже какого-то очень высокого градуса. Больше всего занимали его планы на будущее, которое, видно было, представлялось ему в самом радостном свете.

В этом не было ничего удивительного. У нас многие выздоравливающие бывали и возбуждены, и воодушевлены, и строили светлые планы, и охотно делились ими в палате и в курилке.

Вот Серега, чрезвычайно интеллигентного вида, высокий, с роскошной седой ухоженной гривой, похожий на постаревшего хиппи, большой любитель не только крепкого чаю, но и сахару, и тоже разведенный с женой, выстраивал стратегию своей дальнейшей жизни просто и ясно: снять с книжки деньги («у меня там есть»), заплатить за квартиру, позвонить по телефону и выяснить, уволили его с работы или нет, и если уволили, найти новую.

Он работал в Макдональдсе на Ленинском проспекте.

– Грузчиком? – спросил я его.

– Ну, грузчиком... Я свое уже отгрузил...

Теперь Серега мыл полы. Мытье полов в Макдональдсе производилось не совсем обычно.

В конце концов, всякий труд по-своему почетен. Мытье полов так мытье полов. Даже в таком сомнительном заведении, как Макдональдс.

Но и полы там мыли не как у всех. Казалось бы, что проще: вода, швабра, взял и помыл. Но нет. Серега должен был свой мыть пол непрерывно. В течение всей рабочей смены, 8 часов. Разreshалось разве (я надеюсь) делать перерывы для естественных надобностей и покурить.

Зато платили за это по-царски: 8-10 тысяч...

Правда, за такие бешеные деньги (и даже за гораздо большие) можно было где-нибудь в другом месте устроиться... Где целый день один и тот же пол не моют...

Однако Сергей был своей работой доволен. Он выбрал себе какой-то странный график, с 16-ти до полуночи, и после работы возвращался домой пешком. Благо было недалеко. Он жил на Введенского.

Относились к нему там уважительно, звали «дядя Сережа». И «золотая молодежь» тоже.

– Дядя Сережа, где? – спрашивали они.

И дядя Сережа показывал им столы, где оставалась недоеденная еда.

У татарина Гайяра, несмотря на все его замечательные специальности, планы были скромные.

– В дворники пойду. – говорил он. – А что? Я уже работал один раз дворником. И чувствовал себя отлично.

К тому же психолог в Соловьевке (там он тоже лежал, у него была когда-то депрессия и заикание) говорил ему, что «в нашем возрасте нужно уже умерить амбиции».

С Гайяром мы, в общем, тоже, пожалуй, дружили.

В отделение я прибыл, что называется, никакой. Некоторое время жил так, что и сам не помнил, где.

Естественно, я был жутко голоден и почти сразу после ужина сильно хотел есть. В первые дни почти у всех так бывало.

В палате меня положили рядом с Гайяром. Он тоже был еще не слишком живой, лежал после первых капельниц.

Я встал, сделал себя чаю. Мне сразу по прибытии подарили несколько пакетиков – встретил старого знакомого.

Неожиданно Гайяр, не поднимая даже головы от подушки, предложил мне бутерброд с колбасой. Я сначала даже вежливо отказался, но потом голод пересилил, и я сказал: «А давай...»

После того как на другой день мне принесли первую передачу, мы устроили совершенно дикое застолье на троих (еще был один сотрудник охранного предприятия). Все совершенно пьяные – от лекарств, которые нам вкололи, мы пытались устроить что-то вроде чифиря из пакетного чая. Настоящий бред сумасшедшего. Вернее, трех сумасшедших сразу. Естественно, мы все подружились. Вообще, самые добрые отношения складывались у приблизительно одновременно прибывших: пока все больны и беспомощны. На другой день после нашей гулянки Гайяр добыл где-то электрическую машину для стрижки и более или менее привел в порядок мою шевелюру.

Потом его перевели, а по прошествии времени мы с ним оказались вместе в той самой шестой палате.

Мы иногда довольно странно разговаривали. У меня сложилось стойкое убеждение, что Гайяр не вполне доверяет моим рассказам о себе, чувствует, что много не договариваю, и жаждет вывести меня на чистую воду.

Я действительно не слишком распространялся о своих действительных обстоятельствах: не так уж они были хороши.

Я человек не слишком скрытный, можно сказать, «умеренной скрытности», но как-то в последнее время особенно (сам не сразу замечая даже) пытаюсь представить себя другим людям не таким, каков я есть, не столько лучше, чем самом деле, а как-то, что ли, благоуспешней, благоустроенней...

...А иногда и вовсе просто: от всех хочется спрятаться... Но куда, где?.. Бесполезно, все равно найдут. Наоборот, увидят, что прячусь: только хуже будет. Совсем испортится репутация. Лишнее подозрение: зачем прятался?

Так что скрываюсь я только за маской веселости, беспечности, ложных способностей, возможностей, благоуспешности и удачливости.

Мне часто бывает стыдно. Притом неизвестно за что. То есть за какую именно неблаговидность в данный момент. Просто стыдно и все.

Стыд и совесть, кстати, это отнюдь не синонимы.

Совсем наоборот.

Совесть это внутреннее, доброе, честное.

А стыд – наоборот. Прямое следствие гордости и самолюбия.

Люди вообще склонны к лживости

А человек, попадающий в 17-ю больницу, вообще априори совершенно не может быть честным.

Вот Гайяр и подозревал меня в нахальном вранье. Выражал всякие недоверия, ухмылялся, пытался вызвать на откровенность, но я, естественно, твердо молчал.

К тому ж и сам он бессовестно хвастал.

И бухгалтер он лучший на свете, и кладовщик, и к тому ж имеет права на управление всяким погрузчиком. И сын у него мастер спорта по каким-то восточным единоборствам, и окончил институт физкультуры.

И вот однажды, наловившись чаю (три пакетика на кружку) и растворимого кофию, он развалился на своей койке и все мне с чувством сказал:

– Ну, да... И профессия у тебя хорошая, и все-то ты можешь, и бабы тебя любят... Только свитер рваный... Что врать-то... У меня хоть лапотник полный... – Он долго и невнятно что-то еще восклицал и бормотал бранное, почти оскорбительное.

А потом рассказал все, как есть:

– А на самом деле и у меня у самого ни кола, ни двора... Но я – как Шариков... Сажу на своих четырнадцати аршинах и буду сидеть...

Он жил в хрущевке, в одной квартире с женой, с которой состоял в разводе... И сын его там же жил...

У Бориса Петровича все было не так. Он, когда начинал мечтать о будущем, весь светился изнутри. Хотя, конечно, вел себя при этом сдержанно и достойно. Вполне возможно, он и не все мне говорил, что планировал и чего ожидал, но ожидал он только светлого и радостного, разумеется.

Помимо джин-тоника в маленькой банке и порноларька на Ленинградском, в его самых ближайших планах (художественное макетирование храмов – для души – было проектом длительным, основательным, постоянным) было следующее.

Несмотря на явную контру с сыном («Вот собака, два дня назад мать была – уже, звонит, все съел, не иначе с дружкой-Женькой делится... А тот и рад...») Борис Петрович

стал вдруг всерьез обеспокоен его здоровьем и собрался даже принять меры к его основательному исцелению. Многократные «каникулы» в филиале 17-й наркологической, естественно, положительных результатов не дали, потому что в принципе дать не могли.

Тем более накануне произошло знаменательное событие. Его сын Андрей принял Святое Крещение. Непосредственно в больнице. Там был даже свой домовый храм, батюшка приходил из церкви Параскевы Пятницы.

Поначалу, непосредственно в день совершения Таинства, Борис Петрович отнесся к этому неодобрительно, даже почти агрессивно: бранился. Он с нетерпением ждал прихода бывшей жены и приноса ею продуктов, а она по случаю радостного события сначала поспешила к сыну.

«Ишь ты! Креститься надумал...» Виноват во всем, естественно, был тот же дружок-Женька... (Это было повторено раз пятнадцать с возрастающей агрессивностью, и никакие доводы моего слабого разума не могли его остановить.)

Но несколько дней спустя, после того как я в ответ на его очередные жалобы на скверное поведение и состояние сына посоветовал ему обратиться на Крутицкое подворье, где под руководством отца Анатолия Берестова несчастным наркоманам, алкашам, жертвам сект и так далее оказывают серьезную помощь и, как говорят, не всегда безуспешно, Борис Петрович, хоть и не сразу, но проявил интерес:

– Ты мне потом все расскажешь, как доехать, и адрес напишешь...

Незадолго до того мне самому довелось там побывать, правда, по другим и не совсем по своим делам...

Итак, джин-тоник, ларек, подворье... Но, главное, когда Борис Петрович говорил о всем этом, на устах его блуждала загадочная улыбка, и вообще он имел вид человека, который знает что-то, чего никто другой не знает, и тайно (тайно!) гордящегося этим...

Обыкновенный срок пребывания в нашей чудной больнице составлял 30 дней. Выписаться раньше было проблемно. Иногда выпускали через 21. Но для этого требовалось согласие родственников.

Борис Петрович засобирился выписываться досрочно довольно неожиданно. Он стал вдруг какой-то очень уверенный.

Основание для досрочного выхода было такое. Его сын, находящийся на очередном излечении, должен был выйти раньше его, и Борис Петрович не исключал, что у него есть ключи от его запертой комнаты. Сын выйдет, все вытащит и пропьет с другом Женей. Такой безвольный человек!

Переговоры с Б.Г. (Борис Геннадиевич, заведованием) прошли неудачно. Б.Г. заупрямился и не захотел его выписывать.

Борис Петрович загрустил.

И вот в субботу вечером медсестра Катя (вся всегда совершенная понятливость и очарование) на посту спросила меня:

– Что там у вас с Борисом Петровичем?.. Он вообще-то нормальный?

– Да, нормальный... Вполне адекватен. А что?

Ему и прежде случалось до неприличного грубо разговаривать с сестрами (о, эта независимость характера!), и я подумал, что он опять что-то такое натворил.

Поэтому, войдя в палату, я сказал ему тихо и решительно:

– Ну, что ты опять хулиганишь, Боря, не стыдно тебе... Взрослый человек.

Но все оказалось не так.

Оказалось, Борис Петрович неожиданно на ночь глядя, когда и врача-то в отделении не было, стал требовать немедленной выписки, а в противном случае угрожал – ни больше ни меньше – повеситься в душевой.

– Я им так и сказал: не отпускайте, повешусь у вас в душевой.

Это было, по крайней мере, смешно: где угодно, но в душевой у нас никак нельзя было повеситься. Ни одного крюка! Даже полотенце было повесить некуда. Неудобство, на которое даже я роптал.

– Вы уж за ним присматривайте там... – попросила меня Катя. – А утром я, как хотите, врачу скажу.

Я пообещал присматривать.

Но присматривать за Борисом Петровичем мне не пришлось: ему сделали укол, и он совершенно отключился.

На другой день его выписали.

Это было, конечно, нелегко. Живые нервы. Борис Петрович то и дело связывался по мобильному телефону с бывшей женой, она звонила Б.Г. (кстати, за глаза его иначе как Б.Г. и не называли).

Наконец все было улажено, и взбунтовавшийся Борис приоделся и убыл домой, оставив мне несколько пакетиков чаю и почему-то, очевидно просто забыл, ложку из нержавеющей стали с узором на ручке в виде цветов незабудок.

В 34-м отделении было принято весело провожать «исцеленных». Немногим из убывающих я высказывал вслух на прощанье пожелание больше не возвращаться. Чаше говорилось: «Привет. Успехов. До скорого».

Иные действительно скоро возвращались. Так мой добрый приятель татарин Гайяр, в ответ на мое «до скорого!» страшно рассердившийся и пославший меня ужасно далеко, пришел назад ровно через неделю. При этом он был так плох, что страшно смотреть. И первые два дня мне приходилось поддерживать его при ходьбе, так он был слаб и нетверд в движениях. При этом он сильно дрожал и то и дело повторял: «Ой, мне так плохо...» Как будто это и так не видно было.

Так и Борис Петровичу я выразил пожелание скоро снова увидеться.

Он ушел, а мы, оставшиеся, часто вспоминали его. Я даже говорил иногда: «Ничего, отцы-братья, скоро Борис Петрович вернется, кофе нам принесет...»

На что Володя, пришедший к нам в палату из сектора «А» с ним вместе, однажды ответил:

– Очень он здесь нужен... Алкаш дурной... (я смягчаю выражения), – при этом в голосе его звучала откровенная недоброта.

Вообще-то это было похоже на чудо: Володя заговорил!

Да! Как только Борис Петрович нас покинул, Владимир заговорил. Он даже стал общителен и порой словоохотлив. Помимо недобрых высказываний в адрес Бориса Петровича – «Ишь, как у него руки трясутся! Пропавший алкаш, дерьмо» (я смягчаю выражения), – Владимир рассказывал нам про свою жизнь, про семью, про жену, умершую семь лет назад, про дочь, готовящуюся стать учительницей начальных классов, про дачу возле Коломны, где земля такая глинистая, что совсем ничего не растет.

Делился планами трудоустройства. У него была хорошая и довольно-таки дефицитная в наше время специальность токаря («Я и на фрезерном могу, и на строгальном...»).

Пришедший на Борисову койку интеллигентный конструктор Сергей даже нашел ему место где-то на Красной Пресне. Владимир вежливо записал телефон, и адрес, и как пройти, но мне, когда Сергея в палате не было, сказал: «Не пойду. Не хочу опять за колючую проволоку». – Предложенное предприятие было режимное.

Еще он нередко вслух мечтал о том, как скоро найдет себе женщину и переедет к ней, освободив квартиру дочери и ее гражданскому мужу. У него даже уже была одна где-то на Кирпичных Выселках: «Может, и к ней вернусь...»

Уж чем так обидел его Борис Петрович, почему он так угнетал его или раздражал, что за все время их совместного проживания в нашей палате он не произнес и десяти слов, так и осталось для меня загадкой.

Теперь он оказался вполне общительным, добрым малым, и даже раз в три-четыре дня (совершенно добровольно и по собственной инициативе!) мыл пол в палате: «А то ругаться будут...» (я смягчаю выражения).

Дни шли за днями. Время моей выписки приближалось.

А спустя примерно неделю Сергей, который жил теперь на койке Бориса Петровича, вошел палату, сел на эту самую койку и сказал:

– Борис Петрович больше сюда не вернется. – Я посмотрел вопросительно. – Борис Петрович умер.

И, немного помедлив, добавил:

– На другой день после выписки. Сердце. Вошли в его комнату вечером, а он уже холодный...

До меня не сразу дошел смысл сказанного. Я ошалело смотрел вокруг, машинально перекрестился: «Упокой, Господи...»

...Да что там не сразу дошло! Я и теперь не вполне могу это понять и представить.

Хотя, казалось бы, все естественно... Какое сердце выдержит столько кофе, сколько выпивал Борис Петрович... А ведь еще, чтобы спать, он ежедневно поглощал немереное количество тайно пронесенного в отделение неозепама...

Быть может, не будь я такой равнодушный и самоуглубленный индюк, забил бы тревогу, настучал (хоть это и гадко) сестрам, мы скрутили бы Бориса Петровича, отобрали бы таблетки и кофе, в крайнем случае, временно отключили бы его уколами...

...Как-то Борис Петрович рассказывал мне про бомжей, обитающих (или обитавших: тогда было лето) возле консервы (консерватории). Нормальные бомжи, лохматые, бородатые, грязноватые.

Кто-нибудь из них время от времени подходил к Борису Петровичу (он был в форме охранника), просил десятку.

Однажды, видимо, наскучив домогательствами, а может быть, просто утомленный после работы, Борис Петрович вместо просимой десятки дал подошедшему к нему мужику целых сто рублей.

– Все. Больше к тебе никто не подойдет, – поблагодарив, пообещал мужик.

– Видно, заключил Борис Петрович, – он у них главный, вроде пахана или атамана...

Так вот жили летом бомжи возле нашей консерватории. Наверно, и музыку слушали. По крайней, мере слышали.

Там громко играют, и часто то орган, то оркестр прорывается за стены, так что можно и на улице слушать...

И еще о музыке.

В одном доме в Бирюлево жили в одном подъезде мальчик и девочка. Учились в одном классе. Дружили. Как будто бы хорошо понимали друг друга.

Только вот лексика у мальчика была несколько странная.

Например, если собирались пить чай, он говорил неизменно:

– Выпить что ли чайковского...

А когда наставала необходимость вынести помойное ведро, говорил:

– Пойти вынести мусоргского...

Само собой – картонная коробка, где хранились мясные, рыбные, овощные консервы, приобретаемые относительно дешево на оптовых рынках в больших количествах в запас, называлась у него консерваторией.

Естественно, из произведений классического репертуара он знал только полонез Агинского и марш Мендельсона.

Девочка Аня, у которой мать – преподаватель музыки, в какой-то момент почувствовала, что не может больше этого терпеть и стала изо всех сил образовывать и просвещать своего мальчика. Были приобретены абонементы, и она таскала его в консерву, в настоящую консерваторию, в зал Чайковского и так далее... Разумеется, и дома прослушивались соответствующие пластинки, кассеты, диски.

И однажды вечером, когда родителей не было дома, они и соединили свои тела и жизни под сочинения какого-нибудь там Шостаковича, Шнитке или Рахманинова...

Судьба. Счастье. И музыка.

Музыка прежде всего...

А дальше что? А дальше все снова... Дальше все то же самое... Консерва (она же консерватория)... Улица Герцена, которая Большая Никитская... Задворки университета. Храм мученицы Татианы. Зоологический музей с огромными бабочками и челюстью кашалота...

Туристы из Америки. Или еще откуда-нибудь... Приедут, посмотрят, покажут на памятник Чайковскому, спросят:

– Рахманинов?